

Говард Филлипс Лавкрафт

Модель Пикмана

(Pickman's Model)

Совсем не обязательно считать меня сумасшедшим, Элиот, – у многих, если уж сравнивать, куда более эксцентричные предрассудки. Почему вот вы не смеетесь над дедом Оливера, который боится ездить в автомобиле? А то, что мне не нравится проклятая подземка, – это мое личное дело; к тому же на такси мы добрались сюда гораздо быстрее. И нам не пришлось пешком взбираться на холм от самой Парк-стрит.

Я знаю, что не был таким нервным еще в прошлом году, когда мы виделись в последний раз, но это еще не означает, что я болен. Я часто раздражаюсь по пустякам, но с рассудком, к счастью, у меня все в полном порядке. Зачем же тогда этот допрос с пристрастием? Подобное любопытство вам не пристало.

Впрочем, если вам так хочется об этом услышать, не вижу причин, почему бы и не рассказать. Наверное, вы имеете на это некое право... не вы ли писали мне, словно огорченный отец, узнав, что я перестал бывать в клубе художников и избегаю Пикмана? Теперь, когда он так внезапно исчез, я иногда появляюсь в клубе, но нервы у меня уже не те.

Нет, я не знаю, что стало с Пикманом, и не хочу гадать. Вы, наверное, подозреваете, что перед тем как оставить его, я узнал о нем нечто важное – так вот именно из-за этого я и не желаю думать, куда он пропал. Пусть полиция пытается найти разгадку, если сможет, хотя вряд ли ей это удастся: ведь они ничего не знают о доме в северных кварталах старого города, доме, который он снимал под именем Питерса. Не уверен, что и сам сумел бы его отыскать, но и пробовать не стану, пусть даже при свете дня! Да, я знаю, почему он снял этот дом, или, вернее, боюсь что знаю. Я к этому подхожу. И, думаю, вы легко поймете, почему я ничего не рассказал полиции. Они потребовали бы показать им это место, а я не смог бы пойти туда еще раз, даже если бы помнил дорогу. Там было нечто такое... и вот теперь я не пользуюсь подземкой и – у вас есть еще один повод для насмешек – никогда не спускаюсь в подвалы.

Надеюсь, вы понимаете, что я оставил Пикмана совсем по другим причинам, нежели эти суетливые старые бабы вроде доктора Рейда, Джо Минота или Росворта. Болезненное искусство не шокирует меня, и когда человек гениален, я считаю за честь быть знакомым с ним независимо от направления его творчества. В Бостоне никогда не было более великого художника, чем Ричард Эптон Пикман. Я говорил это с самого начала, говорю сейчас и никогда не отступал от своего мнения ни на дюйм, даже после того как он показал нам «Трапезу вампира». Тогда, если вы помните, с ним порвал Минот.

Не спорьте – только глубочайшее проникновение в Природу и особый талант могут осилить такой материал. Любой журнальный поденщик без труда состряпает картинку «про сверхъестественное» и назовет ее кошмаром, или шабашем ведьм, или портретом дьявола, но только великий живописец может сделать такую вещь по-настоящему страшной или пронзительно правдивой, ибо только подлинный художник знает истинную анатомию ужаса или физиологию страха – тот определенный порядок линий и пропорций, связанный со скрытыми

инстинктами или наследственными воспоминаниями об испуге, те особые цветовые контрасты и световые эффекты, способные пробудить в человеке дремлющее чувство необычайного. Вам не надо объяснять, почему дешёвенький Фронтиспис оккультного рассказа вызывает у вас лишь смех, тогда как от картин Фюсли воистину бросает в дрожь. Эти парни уловили нечто такое – за пределами жизни, – что способно в одно мгновение захватить нашу душу. Это было у Доре. Это есть у Сайма, у Ангаролы из Чикаго. А Пикман обладал этим в такой степени, как ни один человек до него и – тут я уповаю на Небеса – после.

Не спрашивайте, что именно они видят. В любом искусстве, как вы знаете, существует кардинальное различие между живым, подлинным, взятым у самой Природы, и поделками, подражательным хламом, который по шаблону лепится коммерческой мелюзгой. И еще добавлю, настоящий оккультный художник обладает особым видением, которое создает модели или вызывает то, что равнозначно действительным картинам некоего призрачного мира, в который он вживается. Каким-то образом он умудряется получить результаты, отличающиеся от слащавых грез притворщика почти в той же степени в какой портрет с натуры отличается от стряпни карикатуриста. Если бы мне довелось когда-нибудь увидеть то, что видел Пикман, – так ведь нет же! Вот и давайте выпьем, прежде чем углубляться дальше. Да я, наверное, и не пережил бы того, что видел этот человек, – если только он был человеком!

Вспомните, лучше всего Пикману удавались лица. Не знаю никого со времен Гойи, кто смог бы вложить столько абсолютного ада в черты или выражение лица. А до Гойи были те парни из средневековья, которые делали горгулий и химер на Нотр-Дам и Мон-Сен-Мишель. Они в это верили – а может быть, нечто подобное и видели, ибо Средние века прошли через весьма странные времена. Помню, как за год до вашего отъезда вы сами спросили Пикмана, в каком бреду ему привиделись такие идеи и образы. Разве не отвратительный смех был ответом? Отчасти именно из-за этого смеха Рейд и порвал с ним. Рейд тогда, вы знаете, как раз увлекся сравнительной патологией и был весь переполнен напыщенным «сокровенным знанием» об эволюционном значении того или иного ментального или физического симптома. Он сказал, что Пикман с каждым днем отталкивает его все больше и больше и почти пугает в последнее время тем, что черты и выражение его лица медленно меняются в направлении, которое ему совсем не нравится, которое нельзя назвать человеческим. Он тогда долго толковал о диете и сказал, что Пикман, должно быть, либо ненормален, либо до крайности эксцентричен. Наверняка вы говорили Рейду, если у вас заходил об этом разговор, то ему просто действуют на нервы картины Пикмана. Я и сам ему это говорил – тогда.

Но заметьте, что я не оставил Пикмана из-за подобных вещей. Наоборот, мое преклонение перед ним росло, ибо его «Трапеза вампира» была воистину грандиозна. Конечно, клуб ни за что не выставил бы ее у себя, Музей изящных искусств никогда не принял бы в дар, и уж точно никто не купил бы ее, поэтому Пикман держал картину у себя дома до тех пор, пока сам не исчез... Теперь она у его отца в Салеме; кстати, вы знаете, что Пикман происходит из древнего салемского рода и какую-то его прапрабабку-колдунью казнили в 1692 году?

У меня вошло в привычку приглашать Пикмана к себе, особенно после того как я взялся за наброски к монографии по оккультному искусству. Вероятно, сама идея писать возникла у меня благодаря его творчеству, во всяком случае, приступив к работе, я обнаружил, что он сам – богатейший источник сведений и советов по этому предмету. Он показал мне все свои подобные картины и рисунки, включая некоторые наброски пером, из-за которых, я абсолютно уверен, его просто вышвырнули бы из клуба, если б его членам довелось их увидеть. Я же благоговел перед талантом Пикмана и мог часами, как прилежный школьник, слушать его эстетические теории и философские спекуляции – достаточно безумные, чтобы заподозрить в нем потенциального пациента психиатрической лечебницы. Мое преклонение и недоброжелательство остальных, все

меньше и меньше желавших общаться с ним, сделали его очень доверительным; и однажды вечером он намекнул, что если я умею держать язык за зубами и не буду слишком брезглив, он мог бы показать мне кое-что действительно необыкновенное – нечто более сильное, чем все, что я видел у него дома.

– Вы знаете, – сказал он, – есть вещи, которые не хотелось бы делать для толпы, – вещи, предназначенные не для распродажи на Ньюбери-стрит; их просто-напросто не поймут здесь. Мое занятие – улавливать обертоны души, но их не услышать на новых искусственных улицах искусственной земли. Бэкбэй – это вовсе не Бостон и даже не бледное его подобие, потому что у него не было времени обрасти воспоминаниями и привлечь местных духов. Если что-то тут и завелось, то только робкие духи соляных болот и мелких заводей; а мне нужны духи людей – существ в достаточной мере организованных, чтобы, взглянув на ад, уразуметь увиденное.

Художник должен жить на Северной Стороне. Если какому-нибудь эстету захочется быть искренним, ему следует перебраться поближе к трущобам, чтобы слиться с легендами самого народа. Истинно так! Вам никогда не приходило в голову, что трущобы не построены, а выросли сами собой? Поколение за поколением жили, чувствовали и умирали там, причем в те времена, когда люди не боялись ни жить, ни чувствовать, ни умирать. Разве вы не знаете, что в 1632 году на Медном холме стояла мельница и что половина уцелевших улиц застроена до 1650 года? Я могу показать вам дома, которые стоят уже два с половиной столетия, а некоторые – и больше; дома, которые были свидетелями такого, от чего любое современное жилище рассыпалось бы в прах. Что знают нынешние художники о Жизни и о силах, питающих ее? Вы называете Салемское колдовство суеверием, а моя прапрапрабабушка, держу пари, могла бы порассказать вам немало интересного. Ее повесили на Холме казней, а ханжа Коттон Мазер стоял и смотрел. Мазер, будь он проклят, боялся, что кто-то может взломать двери этой мерзкой тюрьмы однообразия, – и жаль, что никто не наложил на него заклятия или не высосал ночью всю его кровь!

Я могу показать вам дом, где он жил, и могу показать другой – куда он боялся войти, несмотря на все свои прекрасные храбрые речи. Он ведь тоже знал о кое-каких вещах, о которых не осмелился и упомянуть в своих тупых «Magnalia» или в наивных «Чудесах невидимого мира». Взгляните-ка сюда. Знаете ли вы, что вся Северная Сторона некогда имела сеть подземных ходов, соединявших между собой дома некоторых людей, ушедшую под воду землю и само море? Да продолжатся они над землей – ибо вещи всегда тянутся к тому, что недостижимо, и голоса в ночи смеются над их немощью!

Там почти все оставшиеся дома построены до 1700 года и готов побиться об заклад, что смогу сегодня показать вам нечто особенное в одном таком подвале. Наверное, и месяца не прошло, как газеты в последний раз писали о рабочих, обнаруживших при сносе какого-то старого дома замураванный туннель или колодец, ведущий в никуда, – вы могли видеть один такой дом из надземки рядом с Хэнчман-стрит. Да, были ведьмы, как было и то, что они вызывали своими заклинаниями; были пираты и то, что они привозили с моря; контрабандисты, матросы – и, скажу я вам, эти люди знали, как жить и как раздвигать границы жизни. О старые времена! Этот мир тогда был вовсе не единственным для смелого и мудрого человека! И когда подумаешь о сегодняшнем дне – какой контраст былому! Тьфу! Сейчас такие прокисшие мозги, что даже клуб так называемых художников трясет, едва картина поднимается над уровнем привычного для завсегдатаев чайной на Бикон-стрит!

Единственное спасение современности в том, что она чертовски тупа и неспособна по-настоящему взглянуть в прошлое. Что могут рассказать о Северной Стороне карты и путеводители? Ха! Да я гарантирую, что легко найду тридцать-сорок улиц или даже целый район к северу от Принс-стрит, о которых и не подозревает никто, кроме заполонивших их чужаков. А что

могут знать о них эти италяшки? Нет, древние места спят, переполненные своими чудесами и страхами, и нет уже ни одной живой души, способной понять и использовать их. Или, вернее, одна живая душа есть – потому что не зря же я столько копался в прошлом!

Слушайте, вы ведь тоже интересуетесь подобными вещами. Что, если я покажу вам свою вторую мастерскую, где я сумел поймать ночного духа древнего ужаса и написать вещи, о которых на Ньюбери-стрит не мог бы даже помыслить? Естественно, я не рассказывал об этом тем проклятым старым девам из клуба – из-за Рейда, черт бы его побрал, все нашептывающего, что я какое-то чудовище, монстр, живое воплощение регресса. Но я давно решил, что ужас следует писать столь же хорошо, как и прекрасное – из самой жизни, и потому предпринял некоторые поиски в местах, где, как я точно знал, живет ужас.

Я снял дом в трущобах, где мои цивилизованные собраты обычно предпочитают не показываться. Он стоит не так уж далеко от надземки, если говорить о расстоянии, но отделен от нее столетиями, когда речь идет о душе. Я выбрал его из-за старого кирпичного колодца в подвале – одного из тех, о которых я вам говорил. Лачуга вот-вот развалится, так что в ней больше никто не живет, и мне было бы даже неловко говорить вам, как мало я за нее плачу. Окна заколочены, но мне это даже нравится, потому что для моей работы дневной свет нежелателен. Я пишу в подвале, там вдохновение полнее всего, а в комнатах поставил мебель прямо на земляной пол. Дом я снял под именем Питерса у старика сицилийца.

И вот, если вы действительно не боитесь, я возьму вас туда сегодня ночью. Полагаю, картины вам понравятся – как я уже сказал, там я позволяю себе следовать природе. Это не слишком далеко отсюда, поэтому я часто хожу пешком – да и не хотелось бы привлекать внимание поездками на такси в таком месте. Мы можем сесть на пригородный поезд на Южной станции и доехать до Бэттери-стрит, а там уже недалеко...

Ну, Элиот, вы представляете, что после этой речи мне оставалось только, с трудом сдерживая нетерпение, идти степенным шагом к первому же свободному кэбу. Мы пересели на надземку у Южной станции, около полуночи сошли на Бэттери-стрит и отправились вдоль старого порта мимо причала Конституции. Я не следил за улицами и не знаю, на какую мы свернули, могу сказать только, что не на Гринаф-лэйн.

Затем нам пришлось подниматься вверх по пустынной, самой старой и грязной улочке, какую я когда-либо видел. Обвалившиеся фронтоны, разбитые узкие оконца и старинные полуразрушенные дымоходы, озаряемые лунным светом. Полагаю, что там не набралось бы и трех домов, не стоявших еще при Коттоне Мазере, – я, несомненно, заметил по крайней мере два дома с нависающими над мостовой вторыми этажами, и один раз мне показалось, что я увидел остроконечную крышу почти забытого архитектурного типа, хотя специалисты будут вас уверять, что ни одного подобного дома в Бостоне не сохранилось.

С этой полутемной улочки мы свернули на столь же молчаливую, еще более узкую и вовсе не освещенную; позже она немного изогнулась вправо. Через десяток шагов Пикман включил электрический фонарик и осветил допотопную филенчатую дверь, всю источенную червями. Отперев ее, он ввел меня в пустую прихожую, обшитую тем, что некогда было мореным дубом, – примитивную, но простотой своей навевающую мысли о временах Андроса, Фипса и Колдовства. Потом мы прошли в комнату, освещенную керосиновой лампой, и Пикман сказал, что я могу чувствовать себя как дома.

Да, Элиот, меня любой назвал бы выдавшим виды, но сознаюсь, что с трудом пришел в себя, увидев стены этой комнаты. Там, как вы понимаете, висели его картины – те, которые нельзя написать или даже просто показать на Ньюбери-стрит, – и он был прав, когда сказал, что

«позволил себе следовать природе». Пожалуйста, можете выпить еще – а мне-то уж точно надо хлебнуть!

Невозможно описать словами, на что они были похожи, потому что от этих штрихов и линий исходили леденящий богохульный ужас, невероятное отвращение и моральное зловоние, выходящие за пределы того, что поддается описанию. Тут не было ни экзотической техники Сиднея Сайма, ни сатурнианских пейзажей и диковинных лунных грибов, которыми так любит леденить вам кровь Кларк Эштон Смит. Фонем картины по большей части служили старые кладбища, густые леса, скалы у моря и кирпичные туннели, древние, обшитые панелями комнаты и еще склепы. Излюбленной декорацией был кладбищенский Медный холм, находящийся явно неподалеку от этого самого дома.

Фигуры на переднем плане несли печать безумия и чудовищности – поистине, болезненное искусство Пикмана рождало шедевры демонической портретной живописи. Эти фигуры редко были полностью человеческими, но почти всегда в какой-то степени приближались к ним. Большинство тел, хотя и двуногих, казались как бы сгорбленными, почти все они таили в себе что-то неуловимо собачье. В них была какая-то неприятная резиновость. О! Они и сейчас у меня перед глазами! Их занятия – ну, не требуйте от меня подробностей! Обычно они ели – не буду говорить что. Иногда Пикман изображал их группами на кладбищах или в подземных ходах, дерущимися свою добычу – или, вернее, за выкопанные ими сокровища. И какую дьявольскую выразительность Пикман придавал слепым лицам этого могильного грабежа! Иногда он рисовал их карабкающимися в открытые ночные окна или сидящими на груди у спящих и запускающие, клыки им в горло. Одно полотно изображало тварей пляшущих вокруг повешенной ведьмы на Холме казней, ее мертвое лицо как две капли воды походило на их собственные.

Но, пожалуйста, не думайте, что в обморок я упал ошеломленный этими пикмановскими шабашами. Я же не трехлетний ребенок и прежде видел много подобных вещей. Это случилось из-за лиц, Элиот, из-за этих омерзительных лиц, которые, облизываясь и пуская слюни, хитро выглядывали из холста с ужасающей живостью! Ей-богу, да я верю, что они и были живыми! Этот гнусный колдун пробудил в красках адский пламень, а кисть его была волшебным жезлом, порождающим кошмары. Подайте мне этот графин, Элиот!

Одна из картин называлась «Урок» – да смилостивится надо мной Небо за то, что я посмел увидеть ее! Представьте себе кладбище и круг припавших к земле собакоподобных тварей, которым нет имени в человеческом языке, обучающих маленького ребенка питаться тем, что пожирают они сами. Ребенок, я полагаю, был жертвой похищения, – ну, вы знаете старый миф о том, как Таинственный Народец оставляет в колыбелях свое отродье в обмен на похищенных человеческих детей. Пикман изображал, что происходит с этими похищенными детьми – как они растут, – и вдруг я начал прозревать ужасное родство лиц человеческих и нечеловеческих. На всех кругах своего ада Пикман посмел придать чертам явного нелюдя и деградировавшего человека издевательское и кощунственное сходство. Собакоподобные появились из смертных!

Тут я подумал, что он, должно быть, написал и их собственных детенышей, оставляемых человечеству в виде платы, – и в этот самый момент глаза остановились на картине, подтверждавшей мою мысль. То было нечто из давних пуританских времен – тускло освещенная комната с решетчатыми окнами, в ней скамья-ларь и грубая мебель семнадцатого века; полукругом сидит семья, а глава ее, отец, читает вслух Библию. Лица светятся благородством и почтительностью, но на одном – ничего, кроме затаенной издевки. Этот молодой человек, несомненно, предполагаемый сын набожного отца, но на самом деле – подкидыш нечистых тварей, их порождение, и из какой-то высшей иронии Пикман придал его чертам явное сходство с самим собой.

Пикман тем временем зажег лампу в соседней комнате, любезно оставив открытой дверь, и спросил, не хочу ли я посмотреть его «штудии на современные темы». Я был не в силах ясно выражать свои впечатления – почти онемел от испуга и отвращения – но, думаю, он все понял и чувствовал себя весьма польщенным. Я снова готов поклясться, Элиот, что я не тряпка, чтобы завизжать от чего-либо демонстрирующего некоторое отклонение от обычного. Я уже пожил, вполне искушен и, полагаю, вы достаточно видели меня в деле во Франции и знаете, что меня не так-то легко выбить из седла. К тому же я успел уже привыкнуть ко всему этому кошмару, обратившему колониальную Новую Англию в преддверие Ада. И несмотря на все это соседняя комната исторгла из моей груди настоящий вопль, я едва успел ухватиться за дверной косяк, чтобы не упасть. Если все предыдущее являло взору вампиров и ведьм, наводнявших мир предков, то здесь Пикман вводил их прямо в нашу собственную жизнь!

Господи, как этот человек мог писать! Там был этюд, называвшийся «Происшествие в подzemке», в котором стая мерзких тварей карабкалась вверх из каких-то неведомых катакомб сквозь щель в полу на станции Бойлстон-стрит и набрасывалась на толпу людей, стоящих на платформе. Было несколько подвальных сцен с монстрами, выползающими сквозь дыры и щели каменных стен, с ухмылкой притаившимися за мешками и бочками в ожидании, когда по лестнице спустится их первая жертва.

Одно омерзительное полотно являло огромный поперечный разрез Маячной горки с полчищами муравьино-подобных ядовитых тварей, ползающих по бесчисленным норам, прорытым ими в земле. На многих картинах были пляски среди могил на современных кладбищах, но больше всего меня поразило другое: сцена в некоем склепе, где множество нелюдей столпилось вокруг одного, который держал хорошо известный путеводитель по Бостону и явно читал его вслух. Всех увлек какой-то отрывок; лица их были столь перекошены в припадочном хохоте, что мне показалось, будто я почти слышу дьявольское эхо. Название картины было «Холмс, Лоуэлл и Лонгфелло, похороненные в Рыжей горе».

Когда я мало-помалу пришел в себя в этом втором вместилище чертовщины и всяческой извращенности, то решил разобраться хотя бы в некоторых причинах крайнего своего отвращения. В первую очередь, сказал я себе, картины омерзительны абсолютной бесчеловечностью и грубой жестокостью, которую они выявляют в Пикмане. Надо быть безжалостным врагом всего рода человеческого, чтобы так ликовать над муками души и плоти и над вырождением смертной оболочки. Во-вторых, они ужасают своей невероятной силой. Они... убеждают – когда вы смотрите на них, вы наяву видите самих демонов и боитесь их. Странно, но магическая сила картин Пикмана заключалась не в их необычности. В них не было ничего неясного, искаженного или изображенного условно; все было четким и словно живым, детали выписаны с почти болезненной определенностью. А лица!..

То, что я видел, не было лишь фантазией художника; это было само обиталище демонов, кристально четкое в своей абсолютной достоверности. Ей-богу, мне открылся Ад! Пикмана менее всего можно было назвать фантастом или романтиком – он даже не пытался дать вам иллюзию, призматический эфемер грез, но с ледяной усмешкой запечатлевал некий осязаемый и прочно вросший в реальность ужасный мир, который он увидел бестрепетно, блестяще и явно. Один Бог знает, что это за мир и где Пикман сумел увидеть такие богомерзкие образы, которые скакали, бегали и ползали там; но каков бы ни был разрушительный источник этих образов, одно очевидно: в каком-то смысле Пикман был – по концепции и по исполнению – законченным, усердным и почти научным *реалистом*.

И вот он повел меня в подвал, где была собственно его мастерская, а я силился укрепить себя перед встречей с некими адскими попытками, отраженными на незаконченных картинах. Когда

мы спустились по сырой лестнице, он навел свой фонарь на круглый кирпичный выступ большого колодца в земляном полу. Мы подошли поближе, и я увидел, что колодец был футов пяти в диаметре, со стенами в добрый фут толщиной и поднимался над землей дюймов на шесть, – знающая себе цену работа семнадцатого века, если только я не обманулся. Этот колодец, сказал Пикман, из тех вещей, о которых он мне говорил – выход сети туннелей, источивших весь холм. Я же машинально отметил про себя, что колодец не замурован, только накрыт деревянной крышкой. Подумав, куда мог вести этот колодец, если дикие намеки Пикмана не были всего лишь риторикой, я невольно вздрогнул; потом поспешил следом и, протиснувшись в узкую дверь, вошел в довольно большую комнату с деревянным полом, обставленную как мастерская и освещенную ацетиленовым фонарем.

Незаконченные картины на мольбертах и у стен были такими же неприятными, как и законченные работы наверху, и демонстрировали ту же кропотливую технику своего создателя. Сцены были разработаны с крайней тщательностью, а эскизные линии рассказывали о детальнейшей точности, с которой Пикман добивался правильных перспектив и пропорций. Это был великий человек – я говорю это даже теперь, зная то, о чем вскоре расскажу. Большой фотоаппарат на столе вызвал мое недоумение, и Пикман ответил, что использует его, чтоб писать пейзажные фоны с фотографий прямо в мастерской, а не таскаться по городу со всем снаряжением. Он считал, что фотография так же хороша для работы, как и действительная сцена или натура, и признался, что использует их постоянно. Что-то крайне тревожное было в отвратительных набросках и недописанных чудовищах, злобно уставившихся изо всех углов, и когда Пикман снял покрывало с огромного холста в неосвещенной стороне комнаты, я не сумел сдержать невольный крик ужаса – второй за эту ночь. Он долго отдавался эхом под полутемными сводами этого древнего подвала, и мне едва удалось задушить готовый вырваться истерический смех. Милосердный Творец! Я не знаю, Элиот, сколько тут было реального и сколько большой фантазии, но мне не верится, что земля могла вынести грезу, подобную этой!

Это было колоссальное и безымянное богохульство со сверкающими красными глазами; в когтистых лапах оно держало предмет, который когда-то был человеком, и грызло его со стороны головы, как ребенок грызет леденец. Оно припало к земле, и при взгляде на него каждый чувствовал, что в любой момент оно может бросить свою добычу и поискать более лакомого кусочка. Но будь все проклято, ведь это не ужасный предмет делал картину истинным средоточием ужаса – не он и не собачье лицо с заостренными ушами, налитыми кровью глазами, приплюснутым носом и слюнявой пастью. Дело было не в чешуйчатых лапах и не в покрытом плесенью теле, и не в полукопытах-полуступнях – хотя все это вполне могло бы довести нервного человека до помешательства.

Дело было в технике исполнения, Элиот, – в проклятой, нечестивой, противоестественной технике! Сколько живу, никогда не видел такого подлинного дыхания жизни, перелившегося в холст. Чудовище обитало там, оно сверкало глазами и грызло, грызло и сверкало глазами, – и я знал, что только временное прекращение действия законов Природы могло позволить человеку написать такую вещь без модели – без хотя бы единственного быстрого взгляда на Ад, которого не дано бросить ни одному смертному, не запродавшемуся Дьяволу.

К пустой части холста чертежной кнопкой был приколот сильно скрученный кусок бумаги, – наверное, фотография, подумал я, с которой Пикман собирался написать фон, усиливающий кошмарный эффект. Я потянулся было развернуть ее, как вдруг увидел, что Пикман вздрогнул, словно от выстрела. После того как мой вопль разбудил в темном подвале не привыкшее к шуму эхо, он все время напряженно прислушивался, а теперь был чем-то сильно встревожен, но испуг его, хотя и несравнимый с моим собственным, явно имел скорее физическую природу, нежели

спиритуальную. Пикман извлек револьвер и жестом велел мне молчать, а затем вышел, закрыв за собой дверь.

Мгновение я не мог пошевелиться. Как и Пикман, я стал прислушиваться, вообразив, что различаю доносящийся откуда-то слабый звук быстрых шагов, визг и вроде бы удары. Я подумал о громадных крысах и содрогнулся. Потом послышался приглушенный топот, из- за которого я почему-то весь покрылся гусиной кожей, – тихий, осторожный топот, – но я не смогу описать его словами. Он был похож на глухие постукивания дерева по камню или кирпичу... дерева по кирпичу – что-то мне это напоминало...

Звуки раздались снова, теперь уже громче. Стены подвала чуть заметно задрожали, словно дерево стало бить сильнее. За этим последовал резкий скребущий звук, невнятный возглас Пикмана и оглушительные выстрелы из револьвера (Пикман использовал все шесть патронов), прозвучавшие очень громко, как бывает, когда укротитель львов палит в воздух для пущего эффекта. Придушенный визг, крик, глухой стук и снова постукивание дерева о кирпич. Открылась дверь – от этого, признаюсь, я сильно вздрогнул – и появился Пикман с дымящимся револьвером, проклиная разжиревших крыс, заполонивших древний колодец.

– Черт знает, что они едят, Турбер, – усмехнулся он, – ибо эти старые подземные ходы ведут на кладбище, в логово ведьм и к морскому побережью. Как бы там ни было, вылезали они дьявольски осторожно. Полагаю, их расшевелил крик. Лучше быть поосторожнее в этих старых местах: наши приятели-грызуны – единственный недостаток, хотя иногда мне кажется, что они помогают создать атмосферу и колорит.

Да, Элиот, это был конец ночного приключения. Пикман обещал показать мне нечто необычное, и Небеса знают, что он выполнил обещание. Он вывел меня из этого клубка улиц, кажется, в другом направлении, потому что, когда мы увидели первый фонарный столб, мы были на полупознакомой улице с однообразными рядами стоявших вперемешку доходных домов и обветшалых особняков. Чартер-стрит словно вывернулась под ноги, но я был слишком возбужден, чтобы точно заметить, в каком месте мы наткнулись на нее. Было слишком поздно для надземки, и нам пришлось возвращаться в деловую часть города пешком. Я помню, как мы шли по Ганновер-стрит, а затем переходили с Тремонт-стрит на Бикон. Мы расстались с Пикманом на одном из углов, так и не сказав друг другу ни слова. Больше я никогда не говорил с ним.

Почему я его оставил? Не будьте нетерпеливы. Подождите, я велю подать кофе. Мы уже достаточно приняли другого напитка, так что сейчас мне надо приободриться. Нет – дело не в картинах, которые я увидел там; хотя я поклялся бы под присягой, что их было достаточно, чтобы Пикмана подвергли остракизму в девяти десятых домов и клубов Бостона, и, полагаю, теперь вы не удивляетесь, отчего я избегаю подземоков и подвалов. Дело в предмете, который я нашел на следующее утро в кармане своего пальто. Я о нем уже говорил – скрученная бумажка, приколотая кнопкой к тому жуткому неоконченному холсту в подвале; я думал, что это фотография какой-то сцены, которую он собирался использовать в качестве фона для того чудовища. Тогдашняя тревога застала меня как раз в тот момент, когда я потянулся, чтобы развернуть ее, и я, наверное, машинально сунул ее в свой карман. А вот и кофе – пейте черный, Элиот, если понимаете в этом толк.

Да, я оставил Пикмана из-за этой бумажки. Ричард Эптон Пикман, величайший художник, с каким я когда-либо встречался, – и отвратительнейшее существо, которое когда-либо выпрыгивало из пределов жизни в пропасть мифа и безумия. Элиот, старый Рейд оказался прав. Пикман не был в полном смысле человеком. Либо он родился в странной тени, либо нашел способ

отпирать запретную дверь. Теперь это все равно, ибо он исчез – ушел в легендарную тьму, которую так любил навещать. Да, пусть принесут побольше свеч!

Не просите меня объяснить или даже отгадать, обо что я обжегся. И не спрашивайте, что за твари там карабкались, которых Пикман так ловко назвал крысами. Знаете, эти тайны идут еще от древнего Салема, а Коттон Мазер описывает и куда более странные вещи. Но вспомните, сколь жизнеподобными были проклятые картины Пикмана – и как мы все удивлялись, откуда он берет эти лица...

Ну так эта бумажка вовсе не была фотографией какого-то фона. На ней было просто то самое чудовище, которое я видел на том ужасном холсте. Это была модель, с которой писал Пикман, – а фоном служила обыкновенная стена его подвальной мастерской во всех мельчайших деталях. Но ей-богу, Элиот, *это была фотография с натуры...*

*Перевод: М. Денисов
1994 год*